

ДОЧЬ И ОТЕЦ

(Рассказ Толстого *)

— Вот вы говорите, что надо самому понять, что хорошо, что дурно. А как понять это мальчику, когда он видит вокруг себя дурное, а люди все это дурное считают хорошим. Я про себя скажу. — Так заговорил почтенный Иван Васильевич после разговора, шедшего между молодежью о том, чем руководствоваться для определения нравственного и безнравственного.

Никто, собственно, не говорил, что надо самому понять, что нравственно и что безнравственно, но у Ивана Васильевича была такая манера отвечать на свои собственные, возникающие вследствие разговора мысли и по случаю этих мыслей рассказывать целые эпизоды из своей длинной интересной жизни. Часто он совершенно забывал повод, по которому он рассказывал, увлекаясь рассказом, тем более, что рассказывал он очень искренне и правдиво. Так он сделал и теперь.

— Да вот и разберитесь, что хорошо, что дурно, когда вам 20 лет, да еще вы влюблены...

— Это вы, Иван Васильевич, были влюблены? — спросила у него бойкая, хорошенькая приятельница его дочери.

— Да еще как, — самодовольно улыбаясь под седыми усами, сказал Иван Васильевич. — Был я студентом. Обыкновенно на провинциальные университеты смотрят свысока, а по моему провинциальные университеты лучше столичных. И тебе советую отдать сыновей куда-нибудь в Харьков, Казань, Киев, но не в Москву. Не знаю, как теперь, а в мое время никаких у нас в университете и тем паче политических теорий и демонстраций не было. Были хорошие профессора и были студенты, которые сильно любили науку, учились под руководством старших, как и свойственно юношам от 16 до 20—25 лет, и были студенты, к которым я принадлежал, которые учились только на столько, чтобы переходить с курса на курс, и занимались тем, чтобы шалить, петь, играть, иногда выпить, а главное влюбиться. И я, право, благодарен за это судьбе, за то, что я был в провинциальном университете и принадлежал к этому роду юношей, а не был занят, как теперешняя молодежь — простите — невежественная, самоуверенная заучившая одну какую-нибудь теорию по книжке и воображающая, что она все знает, что ей не надо учиться, а учить. Я благодарен за то, что с молодости был молод, а стал думать об общественных вопросах жизни тогда, когда ум окреп и я узнал жизнь. Ну, да не в том дело. Был я из веселых молодых студентов и богатеньких. Был у меня инородец лихой, катался с гор с барышнями (коньки еще не были в моде),

устраивал с товарищами вечеринки с шампанским (в то время мы ничего кроме шампанского не пили) и, главное, танцевал на вечерах и балах. У нас были прекрасные балы. Танцевал я хорошо. И теперь могу стариной тряхнуть, и был не безобразен.

— Ну, чего скромничать, — перебила его опять бойкая барышня. — Мы видели вас в 75 лет, и знаем ваш еще дагеротипный портрет. Не то, что не безобразен, а вы были красавец.

— Красавец так красавец, да не в том дело. Я говорил, что влюблялся, но, строго говоря, я был в это время по настоящему влюблен только три раза. — И, загибая пальцы левой руки, Иван Васильевич назвал три фамилии. Последняя была Варенька Б. Это была самая прекрасная и сильная любовь, и про нее-то я хочу рассказать. Варенька эта была

очень хороша. Вот это была точно красавица. Иначе и назвать ее нельзя было: высокая, стройная, необыкновенно прямо держащаяся, — она иначе не могла, и это давало ей царственный величественный вид, который был бы смущающий, если бы не ласковая, всегда веселая улыбка и рта и прелестных блестящих глаз, и щек и ямок, и всего милого существа.

— Каково Иван Васильевич расписывает?

— Да как ни расписывай, расписать нельзя. Ну, вот, на масленице был бал у губернского предводителя — богача хлебосола, добродушного старичка с великолепной женой, всегда в бриллиантовой френшерке и с буфетом разливного моря шампанского.

Я танцевал и, разумеется, не пил шампанского, потому что был совсем пьян от любви. Варенька была не из богатого семейства: она была дочь полковника воинского начальника гарнизона. Мать ее была совсем вульгарная женщина. Но их везде принимали по положению отца: для губернии воинский начальник гарнизона — лицо, — а главное за неоспоримую, признаваемую всеми прелесть дочери, украшавшей всякий бал.

Мне не удалось с ней танцевать мазурку. Препротивный инженер Анисимов, я до сих пор не могу про-

стить это ему, пригласил ее только что она вышла, а я заезжал к парикмахеру за перчатками и опоздал. Я танцевал с маленькой-маленькой немочкой, но был очень неучит — не говорил с ней и не смотрел на нее, а видел только высокую стройную фигуру в белом платье с розовым поясом, ее сияющее, раздумывавшееся с ямочками лицо и ласковые милые глаза. Не я один: я замечал, что все смотрели на нее и любовались ею; любовались и отвергнутые ею мужчины, и завидующие ей женщины, которых она затмила всех. По закону, так сказать, я не танцевал с нею, но по духу мы гандовали всю мазурку только с нею. Она, не смущаясь,

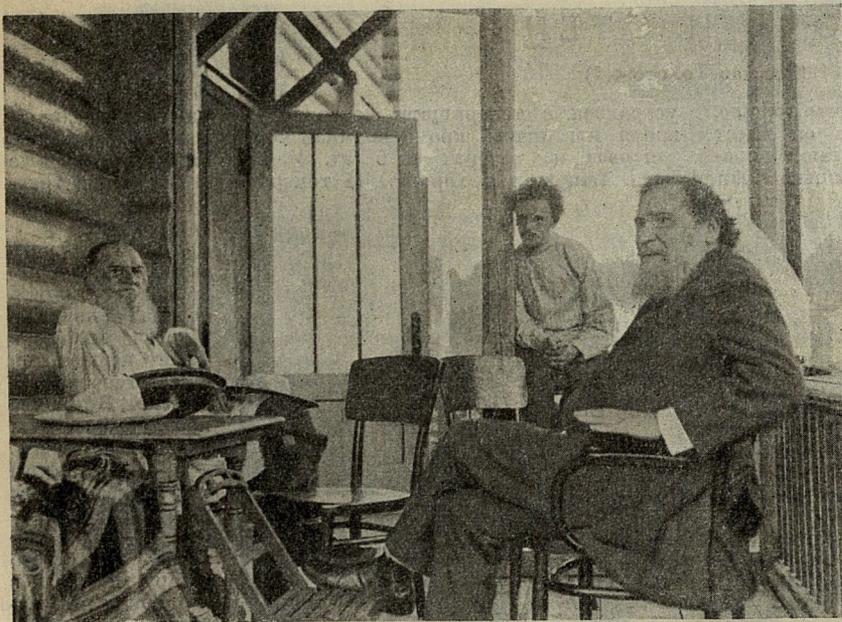


В. Г. Чертков и Толстой



Старшая дочь Толстого Татьяна Львовна Толстая-Сухотина

*) Первая редакция рассказа «После бала».



Толстой, Мечников и проф. Гольденвейзер на террасе в Ясной Поляне

через всю залу шла ко мне, и я вскакивал, не дожидаясь приглашения, и она улыбкой благодарила меня за мою догадливость. Когда нас подводили к ней, и она не угадывала моего качества, она делала презрительную гримасу, подавая руку в высокой лайковой перчатке не тому, кому хотела.

Она обещала мне кадрили после ужина, и, когда я передавал назад ее веер, она оторвала от него перышко и дала мне. Я поцеловал его и спрятал в перчатку. Я был не только весел и доволен, но я был счастлив, блажен, я был добр, я был не я, а какое-то неземное существо, не знающее зла и способное на одно доброе.

Усталые музыканты перешли опять с вальса на мазурку, из гостинных поднялись от карточных столов панаша и маменьки, лакеи забегали, пронося что-то. Очевидно, дело шло к ужину.

— Вот славная парочка, — услышал я чьи-то слова в то время, как мы с Варенькой в сотый раз пролетали вдоль залы, и я делал задерживающие на в то время, как она плавно, в своих белых атласных башмачках, обходила вокруг меня.

— Смотрите, папа просят танцевать, — сказала мне Варенька, еще веселее улыбаясь и указывая глазами на высокую, статную фигуру ее отца, полковника с серебряными эполетами.

— Варенька, подите сюда, — услышали мы голос хозяйки в бриллиантовой фероньерке и подошли к двери, у которой стояли полковник, хозяйка и вышедшие из-за карточных столов родители.

— Ну, пожалуйста, пройдите с дочерью, — заговорила хозяйка полковнику.

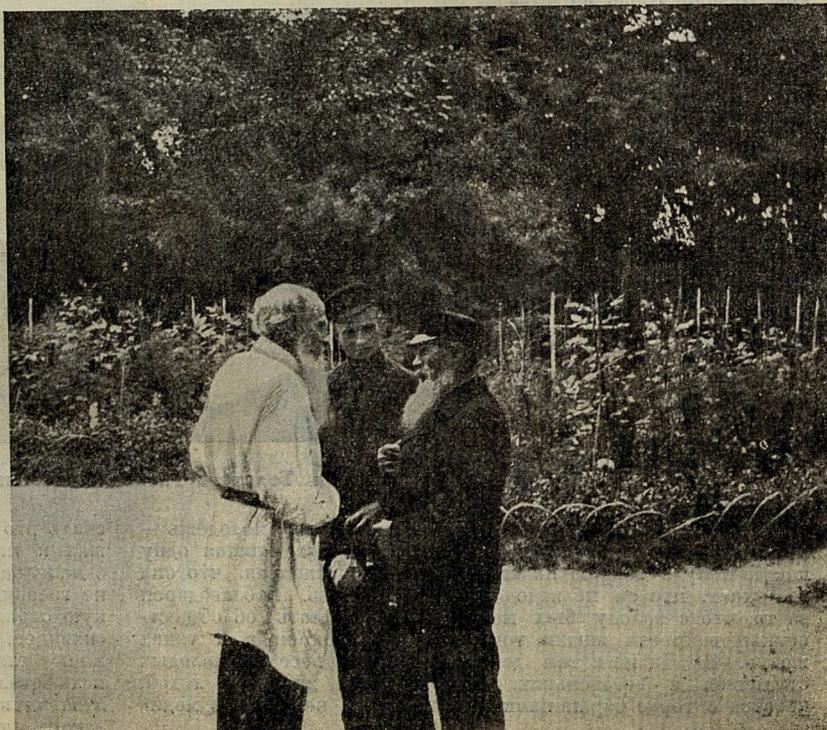
Старик Б. был похож на дочь, несмотря на белые короткие волосы и белые а ля Николай I подстриженные усы и подведенные к ним белые бакенбарды. Та же ласковая, радостная улыбка, как и у дочери, была в глазах и губах старика-полковника, и в связи с его сединами казалась мне особенно привлекательной.

Я обнимал в то время весь мир своей любовью к Вареньке, но к отцу ее я испытывал в эту минуту какое-то обожание. Когда же он, подомавшись немного, вынул шляпу из портупеи и отдал ее услужливому хозяйскому племяннику, и, натянув замшевую перчатку на правую руку — «надо все по закону», — улыбаясь, сказал он, и, взяв руку дочери стал в четверть оборота прочь от нее, выжидая такт, я был в восхищении от него. Он топнул раз, другой, и грузная фигура его то легко и плавно, то шумно и бурно с топотом каблучков и ноги об ногу задвигалась вокруг залы. Оба казались мне прелестны. И я не один, вся зала с восторгом смотрела на них и все громко зааплодировали, когда он, подпрыгнув, вдруг с прыжка упал на одно колено, обвел ее вокруг себя. Окончив

танец, он нежно, мило обхватил ее руками за шею и, поцеловав в лоб, повел к ее кавалеру, раскланялся и простился с хозяйками. Его уговаривали остаться ужинать, но он сказал, что не может потому, что у него на завтра есть дело. После ужина я танцевал с нею. Мы ничего не говорили о своей любви, но я почти был уверен, что она любит меня, и был невыразимо счастлив и не хотел портить своего счастья.

Когда я приехал домой, разделся и подумал о постели, я увидел, что это совершенно невозможно. У меня в руке было перышко с ее веера и целая перчатка, которую она дала мне, уезжая, когда садилась в карету и я посадил ее мать и потом ее. Я смотрел на эти вещи, не закрывая глаза, видел ее перед собою в ту минуту, когда она, выбирая из двух кавалеров, говорит мне: «вы розан», слышу ее голос, или когда за ужином пригубливает бокал шампанского и исподлобья смотрит ласкающими глазами, но больше всего я вижу ее в паре с отцом, когда она плавно движется около него и с гордостью за себя и за него взглядывает на любующуюся публику. Так что я вижу и ее и его и соединяю их в одном нежном, умиленном чувстве.

Заснуть было невозможно. Я оделся, вышел в переднюю, надел шинель и пошел бродить по городу. Была самая масленичная погода. Снег таял и был туман. С бала я уехал часа в четыре, дома просидел часа два, так что когда я, выйдя со двора, проходил в темноте с час, начало светать. Я вдруг почувствовал усталость, и мне захотелось спать. Я повернул к дому, но вдруг услышал с площади странные звуки флейты и барабана. Невольно направился к площади. Было уже совсем светло, когда я вышел на площадь. На площади была, как мне показалось сначала, толпа солдат в черных мундирах, и среди них слышались звуки флейты, барабана и еще какие то странные звуки. Я подошел ближе и увидел высокую фигуру полковника в фуражке и шинели, со своим румяным лицом, белыми усами и бакенбардами. Лицо его было совсем другое, чем на бале. Глаза были нахмурены, скулы сжаты и изредка он что-то сердито и мрачно выкрикивал. Когда я подошел ближе к редкой толпе зрителей, которые смотрели на то, что делалось, я увидел, что то, что мне показалось толпой солдат, — было стройное построение. Солдаты стояли кругом друг против друга на расстоянии пяти или шести шагов. У каждого солдата в руке была гибкая палка длиной более двух аршин и толщиной с палец. Два барабанщика и флейтщик стояли посередине круга. Посередине же круга был офицер;



Толстой беседует с гостями-крестьянами

с внешней же стороны круга ходил полковник Б. Он не поглядел в мою сторону и не узнал меня, а что-то сделал с одним из солдат, сердито прокричав что-то. Я все не понимал, что это, до тех пор, пока к тому месту, где я остановился, не стали приближаться шедшие люди между двумя рядами солдат.

Шедшие люди были два солдата с скрещенными ружьями, к которым к самым штыкам привязано было руками маленькое черноватое существо с спиной и задом, на которых, мне показалось, было надето что-то странное. Только когда эти люди поравнялись со мной, я понял, что это было. Привязанный к ружьям человек был прогоняемый сквозь строй, сквозь 3000 палок, как мне сказали, бежавший солдат-татарин. Все солдаты, вооруженные палками, должны были ударять по спине проводимого мимо них человека. Полковник кричал на людей, которые не достаточно крепко били, и бил их за это, угрожая еще жестоким наказанием. Солдаты взмахивали один за другим палками и ударяли по спине волочимого мимо них человека. Спина

солдаты удерживали его от падения и медленно вели его вперед, доставляя солдатам, стоявшим в строю, наносить маленькому татарину самые сильные удары. Татарин так слабо стонал, что из-за равномерных, с двух сторон со свистом и шлепаньем ударов палок, стоны его слышны были в самой близости. За каждым ударом, шлепаньем по сырому окровавленному мясу спины, маленький черноватый с серым лицом татарин поворачивался со слабым стоном в ту сторону, с которой падал удар.

— Я тебя научу, как мазать, — услышала голос полковника. — Я тебя помажу. И вслед за этим послышались удары и зверские крики: — будешь мазать, будешь?

Что-ж вы думаете, что я решил, что полковник изверг, что то, что я видел, было преступление? Ничуть. Правда, моя любовь, т.е. та прелесть, поэзия любви,

которую я испытал в этот вечер, кончилась. Я не мог теперь не видеть в ней, в этой ласкающей ее улыбке того, что я видел в ее отде на площади. Но я не смел, не мог решить, что то, что я видел, было дурно. Это было ужасно, но,



Толстой в своем рабочем кабинете в Ясной Поляне
Гравюра на дереве с картины Репина



За шахматами

этого человека была так избита, имела такой странный, вспухший кровавый вид, что я принял эти раны за одежду. Волокомый на ружьях человек то опрокидывался назад, и тогда солдаты с сосредоточенными, серьезными лицами удерживали ружьями, толкая его вперед, то падал наперед, и тогда те же

если оно делалось, оно было необходимо, оно было стихийно и спорить с этим нельзя было, а надо было понять это и подчиниться этому. И я не мог ни того, ни другого, — но я не мог решить, что это дурно.

«Вот и говорите после этого»...

